



Дизайн автора

ДОМА

Пыля и западая то одним, то другим колесом в глубокие колеи, автобус выбрался на проселок и покатил вдоль тенистого коридора лип и кленов. Сейчас будет спуск, и вдалеке откроются крыши ее деревни на фоне сине-зеленой полосы леса. И когда увидела, сердце уже не отпускало — казалось, что и дом ее виден, если только отец не перестелил крышу — все мечтал шифером покрыть, — дом, и огромный соседский тополь, и высокое старое дерево с обрубленной верхушкой перед въездом в деревню. А вот там и старая липа, где на самом верху, на тележном колесе, каждый год выют себе гнездо аисты. Аисты были одним из чудес детства. Однажды один из аистов сел на электрические провода, и его убило током. Маленький, с огромными крыльями, он лежал на земле, как-то наоборот вывернув ноги. С тех пор всякая смерть вызывала в памяти эту лежащую навзничь птицу с неестественно вывернутыми ногами...

Их приветствовали почти из каждого двора, а тетка ее, сестра отца, увидев их, заметалась за оградой, запричитала, что дома нема никого, знали бы — не ушли бы никуда, что ждут их завтра, как в письме сообщалось.

— Ах ты, господи,— повторяла она,— да я зараз сбегаю за ними.

— Не нужно, — улыбаясь, говорила Марина.

— Ну як же не нужно, дети . родные приехали! — и, слушая . ее, нельзя было понять, горе это или радость, что приехали.

Ключ Марина нашла под крыльцом. На маленькой, душной и залитой солнцем веранде одурело гудели мухи, а в сених было темно, прохладно, и от родного, покойного домашнего запаха у нее подступил комок к горлу. Бросили вещи на кухне и вошли в комнату. Все было так же, как год и как шесть лет назад, когда она уехала отсюда: те же вышитые крестом ее розы в застекленных рамках, тот же писанный рыночным художником пейзаж на синем линолеуме (Юрий в первый свой приезд бесцеремонно восторгался пейзажем и мечтал забрать с собой. «Убожество как жанр — это уже направление», — посмеиваясь говорил он, те же занавески и тот же тихий, ненавязчивый, негородской запах.

Первой, запыхавшись, вернулась мать и, светлея лицом, смущенно протянула Юрию прямую ладонь. Мать постарела, но только на одно мгновение, после которого она стала такой же, как всегда. Пришел отец, и начали накрывать на стол. Когда накрыли и Юрий откупорил бутылку муската и столичную, появилась тетка. На стол нарочно не смотрела, а только на молодых, готовая засиять или всхлипнуть, в зависимости от нужды. Тетке тоже налили, и по тому, как выпила она сладкий мускат, было видно, что не зайти она бы не смогла.

— Как? — спросил после первой отец и, вежливо приподняв бутылку, посмотрел на зятя. — А то можно нашего домашнего отведать.

—Давайте уж эту, — кивнул, улыбаясь, Юрий.

После выпивки и еды Юрий пошел полежать и тут же заснул, уронив на пол книгу. Мать принялась убирать со стола, а отец .сказал, что нужно словить петуха, и вышел. Жара убавилась, и в воздухе еще сильнее встали запахи разогретой земли и листьев.

Марина спустилась с крыльца, любовно задерживаясь на каждой ступеньке, и направилась в сад.

Солнце уже было за садом, тут и там оно просвечивало листву яркими зелеными пятнами, а яблоки против него были черными шарами и висели так напряженно, что, казалось, вот-вот тяжело разбомбят землю. А дальше, за садом, начиналось поле, убранное и слепящее золотистым блеском. Оно выпукло простиралось до самого леса, обрезаю его по кончики елей, и на возвышении сизо маячил огромный стог. Казалось, он только что возник здесь и, словно на исходе своего разбега, вот-вот тяжело поднимется в воздух. Она решила, что завтра обязательно сходит к нему. Можно будет и Юрия взять, если Юрий захочет, и от того, что все впереди — и завтра, и послезавтра, и еще много-много дней, — она почувствовала себя счастливой.

Позади на дворе разом заклохотали куры, и она пошла к дому, держа большое надкушенное яблоко — белый налив. Только что сорванный белый налив имел совсем иной вкус, чем полежавший. В нем не было вялой, томной податливости — он был острый, душистый и отдавал газированной крепостью. Когда она закрыла за собой садовую калитку, петух был уже пойман — он беспокойно выдергивался из рук отца. Отец ухватил его одной рукой за шею и, держа на весу, отчего шея длинно вытянулась, несколько раз крутанул петуха в воздухе. Петух вскоре перестал биться, крылья обвисли, и отец бросил его на крыльцо. Петух мертво и плоско лежал на боку. Когда она боязливо ступила рядом на крыльцо, петух вдруг открыл глаз и строго посмотрел на нее, будто просил не выдавать тайну того, что он жив. В следующий момент глаз закрылся, и петух умер.

Если бы мы не приехали, он бы жил, — подумала она. Петуха убили из-за них, даже не из-за нее — из-за Юрия. Когда-то он наивно спросил за столом: «А что, масла нет?». В тот раз после обеда ее отец вывел из сарая велосипед и покатил в поселок, в магазин. С тех пор на столе при них всегда было масло.

— Ощиплешь, дочка? — спросил отец.

— Лучше вы сами, — сказала она, обходя петуха. — Может, не надо было убивать?

— А... — небрежно махнул рукой отец и с сомнением еще раз посмотрел на петуха. — Орун был большой. Хоть тихо теперь будет. Ты тогда картошки накопай. Мать сварит.

В саду этим летом картошку еще не брали, и ей было жалко разрушать законченный строй рядов. На каждом вытащенном ею кусте было много клубней. Она осторожно, чтобы не оборвать, встряхивала их и, чувствуя их приятную маятниковую тяжесть, бросала рядом на траву. Каждый новый куст она бросала так, чтобы клубни не бились об уже лежавшие. Она убрала весь ряд и, оглянувшись на чуть присыпанную землей горку ботвы и картошки, взяла тяпку. В глубине еще оставались тяжелые картофелины. Несколько их она разбила и виновато доставала выпачканные землей свежие дольки.

Поддерживая у груди согнутую руку, на которой висела корзина с картошкой, она вышла из сада. На крыльце стоял Юрий.

— Давай помогу, — сказал он.

— Я сама, — сказала она, ревниво уклоняясь с корзиной от его протянутой руки.

— Как хочешь, — оказал он, и она почувствовала раздражение.

— Лучше принеси воды, — сказала она, чтобы не сказать чего-то другого, просящегося наружу.

— А ведра где? — сторонясь, чтобы пропустить ее, спросил он.

— Где всегда, — укоризненно обернулась она, радуясь поводу упрекнуть его в том, что он никогда не пытался стать в ее доме больше чем просто случайным гостем. Он и с ее родителями оставался в вежливо-отстраненных отношениях — это его вполне устраивало. Он всегда сидел здесь, не зная, чем заняться, слонялся или лежал на диване, почитывая всякую ерунду, а по вечерам с унылым упорством просиживал перед телевизором. Все

здесь было не в его вкусе, даже подушка, которую он, ворочаясь, долго уминал перед сном, — подушка была слишком высокой.

В первые приезды ее обескураживало его тихое ворчания: каждую минуту она старалась предугадать, что ему может не понравиться. Потом махнула рукой. Старые ссоры, полузабытые обиды оживали и трудно шевелились в ней. Она долго не понимала, почему в деревне у нее с Юрием ухудшались отношения. Теперь ей стало ясно: здесь она невольно выходила из подчинения. То, что окружало ее здесь, было не с мужем, а с ней заодно.

Ужин получился обильным и тяжелым, как извинение за поспешный скудный обед. Отец снова пытался наливать Юрию, но тот на сей раз отказался. Отец заговаривал о политике, словно стараясь обратить в дело познания зятя— Юрий был экономистом, — но тот отвечал скучно и скупно, как человек, которому наперед все ясно.

— Да нет, ты постой, — хватая зятя за колено, воодушевлялся ее отец. — Взять, к примеру, нашу деревню, Деньжонки у людей позавелись. Во всех домах телевизоры, а есть дураки, дак те еще и холодильники купляют.

— И что будет, когда все купят, счастье? — говорил Юрий, и она видела, что его угнетает фамильярность отца.

— Вы, молодые, легко судите,—сдержанно кипятился отец. Он любил такие разговоры.

— Да хватит, опять вы, папа, за свое, — сказала она, встала и вышла из-за стола. Ей было неловко за отца, но сердилась она на Юрия.

После кухни в комнате было свежо и прохладно, за раскрытыми окнами шевелились листья хмеля и доносился звук гармошки. Смешно, но когда-то она и сама играла на гармошке, играла украдкой, забравшись на чердак или в сад, пока ее взрослый брат — теперь он морячит на Дальнем Востоке — пропадал у своей любви. Брат смеялся над ней и отнимал гармошку, но ее тянуло играть: музыка была продолжением ее тогдашнего волнения, ее смутных надежд, ее предчувствия, что, кроме ее жизни, есть другая, настоящая жизнь. Последний год в деревне она жила как в чад; особенно невыносимы были медленные летние вечера, когда окрестность проступала в мельчайших подробностях, а воздух становился глубоким и чутким к каждому звуку. Все это отождествлялось с тем, какой она представляла себе любовь, и она молча плакала, ей хотелось умереть. В детстве они ходили играть в молодой осенний ольшаник. Девочки вили большие гнезда на деревьях и сидели в них, как птицы. А пониже к ним бежали мальчишки с расставленными как крылья руками. У нее тоже был мальчик, и они сидели вместе в гнезде, касаясь, друг друга, и уже в самом прикосновении этом была какая-то чудесная тайна. Все, что узнала она потом о любви, не шло ни в какое сравнение с тем, что чувствовала она тогда, сидя в гнезде из ольховых веток и испуганно подавая голос.

Гармошка играла уверенно, с каким-то вызовом, и вспоминалось, как бегала она когда-то на танцы в соседнее село, где был клуб. Она бежала через вечернее поле, которое настороженно обступал лес, слыша музыку и чувствуя, что там, вдалеке, и скрыто главное, о котором она давно догадывалась, и оно откроется ей — надо только успеть.

Темнело быстро, и когда она, свернув с деревенской улицы, стала спускаться мимо колхозного сада к речке, были уже сумерки.

— Да зачем тебе надрываться? Я и сама прополощу, — останавливала ее мать, затеявшая стирку после ужина. — Ну куда ж ты, темень на дворе.

— Я пойду с Мариной, — сказал Юрий, и они пошли вдвоем. Ей было приятно, что Юрий сказал так при матери. Он не был ревнивым, теоретически он позволял ей все, хотя она чувствовала бы себя уверенней, если бы он запрещал. Но, предоставляя ей свободу, он предполагал такую же свободу для себя и праведно возмущался, когда у них из-за этого вспыхивали ссоры. Но сейчас в его голосе ей явно слышалась нотка ревности. К чему? Бог знает, может, к тому, что она обходится и без него, а может, даже к речушке, которую она любит независимо от того, есть он или нет. Ведь его всегда настораживало проявление

независимости в ней.

Он шел молчаливый, озадаченный. Как это странно: чтобы тебя любили, нужно причинять боль. Она так устала от этого. Он всегда был верен своим недостаткам, словно только благодаря им можно отстаивать себя.

Речушка была почти незаметна в зарослях тростника, только в одном месте тростник был вытоптан, и с берега на берег положены толстые доски, навсегда вросшие в черную влажную землю. Днем на болотце иа той стороне прилетали аисты и вышагивали, кивая головой, как бы примериваясь к добыче.

— Ой, что это? — вздрогнула она, увидев спереди, у самого тростника, смутное белое пятно. Юрий сделал шаг вперед, и за ним она почти вплотную подошла к тому, что белелось на земле.

— Петух! — испуганно сказала она. — Это отец петуха ошипывал... Пойдем подальше, — сказала она, с трудом отводя взгляд от горки теплых перьев. — Тут где-то должен быть большой камень, там даже удобнее.

Она полоскала с камня белье, а Юрий стоял рядом и, помахивая ивовой веткой, отгонял комаров. Окрест совсем стемнело, но в той стороне, откуда они пришли, за горами деревьев глухого колхозного сада еще стоял бледно-оранжевый закат, и было видно, как пошевеливаются на взгорке черные листья яблонь. По-прежнему на краю деревни играла гармошка: там, наверное, танцевали на траве, но ей казалось, что тот, кто играет, обращается только к ней, словно что-то знает про нее.

— Как странно, — подняла она голову, — мы в темноте, а там светло.

Юрий обернулся, посмотрел и ничего не ответил. Вблизи раздался быстро нарастающий рокот мотора, и из-за деревьев, застывших освещенный горизонт, вынырнул маленький самолет — биплан. Он был так низко, словно только-только взлетел с поля на той стороне дороги. Самолет был залит оранжевым светом, и пилот, будто зная, что он последний свидетель заката, прямо над ними вздернул нос самолета и стал набирать высоту.

— Наверное, он сейчас счастлив, — сказала она.

— Кто? Летчик?

— Да.

— Немного же ему надо.

— А тебе?

— Мне? По мне, можно обойтись и без счастья.

— И давно ты стал так думать? — спросила она, чувствуя себя уязвленной.

— Ты тоже к этому придешь.

— С тобой?

— Даже без меня.

— Грустная история, — сказала она. — Хочешь, я тебе расскажу веселую?

— Расскажи, — усмехнулся он.

Мгновение она боролась с призраком ссоры и, глубоко вздохнув, сказала:

— Ну так слушай. Я была маленькая, и у нас был петух. Не такой, как этот. Настоящий петух — большой, красивый, белый. Самый красивый во всей деревне. Однажды отец сказал: «Давайте его убьем». Не знаю зачем, но он так оказал. Мы открыли дверь в избу, чтобы заманить петуха: на дворе бы его не поймать. У нас еще пол был земляной, и в сенях колода стояла, там отец дрова колот. Отец сказал — мы ему отрубим голову. Мы все еще в сенях были, как вдруг петух сам зашел — раньше он никогда не заходил. Он зашел и посмотрел на нас, а потом на колоду. Он обошел вокруг этой колоды и так гордо зашагал обратно к дверям и ушел. А мы смотрели на него и никто из нас не пошевелился. Даже отец. Мы этого петуха так и не тронули — ни тогда, ни потом.'

Она замолчала, окунула в темную холодную гладь речки полотенце и, подняв его, следила, как, высвобождаясь, падают обратно струи воды. Звук был чистый и гулкий.

— Что же из этого следует? — спросил Юрий,

— Ровно ничего, — покачала она головой, выжала полотенце и бросила в таз.

— Ну ладно, — уступчиво сказал Юрий. — Давай я тебе помогу. — И наклонился, чтобы поднять таз с бельем.

— Не надо, — сказала она. — Ничего не надо.

Она поднималась мимо неровной стены неподвижного сада. Было тихо, гармошка молчала, и горизонт теперь был пуст и темен. Выпавшая роса холодом обжигала ноги, и особенным теплом светили сквозь деревья окна изб. Она подумала, как хорошо дома, и пошла быстрее. Юрий шел следом. Она слышала его шаги, даже дыхание, затрудненное дыхание невысказавшегося человека. Обиделся, заключила она, с удивленным отмечая, что нет в ней больше раздражения против него, нет потребности защищаться или что-то доказывать. Она испытывала к нему нежность и жалость. Господи, как глупо все, что мы делаем! — думала она. Ей захотелось остановиться и сказать что-то Юрию, и тогда все станет простоя Она чувствовала, что именно ей дано сделать все простым и ясным. И чтобы не уступить так сразу этому чувству, не обернуться, она еще, молча улыбаясь, заставила себя дойти до дороги.

1972